ЗЛО У СТАНИЦЫ · КНИГА ПЯТАЯ

ЧЁРНАЯ ВОДА



ЮРИЙ ЗОРКИЙ

Юрий Зоркий

Чёрная вода. Зло у станицы. Книга 5

«Автор»
2026

Зоркий Ю.

Чёрная вода. Зло у станицы. Книга 5 / Ю. Зоркий — «Автор», 2026

Пятая книга серии «Зло у станицы». Продолжение романа «Ищите своих».Раз в семь лет из-под кургана в плавнях поднимается то, что было раньше света. Чёрная вода. Её не убить ни шашкой, ни знаком. Её можно только продержать до рассвета. Семь лет назад в Рождественскую ночь на помощь заставе Тёрнового Кута не пришёл никто.В этот раз Степан и Матвей собирают своих по всей Кубани. Но на коже братьев проступают холодные чёрные точки: вода уже выбрала, в кого бить. В тумане на трассе их окликают голосами мёртвых, чёрт ворует с неба звёзды, а за ними от кургана к кургану идёт старик в кубанке, который не оставляет обратных следов.До Рождества девятнадцать дней. Чтобы пережить самую длинную ночь, братьям придётся понять: спасает не шашка и не знак, а спины своих, которые стоят рядом.

© Зоркий Ю., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Под плитой 6
Глава 1. Свои 10
Глава 2. Турнир 14
Глава 3. Солнцеворот 19
Глава 4. Шуликуны 23
Глава 5. Тёрновый Кут 28
Конец ознакомительного фрагмента. 32

Юрий Зоркий
Чёрная вода. Зло у станицы. Книга 5

От автора

В книге звучит кубанская балачка, говор кубанских казаков. Его принесли на Кубань казаки-черноморцы больше двухсот лет назад, и в станицах и на хуторах на нём говорят до сих пор, особенно старики. Балачка — живая часть кубанской казачьей культуры, её речь и её память. Реплики на балачке я оставил так, как они звучат, но записал русскими буквами, а смысл всегда понятен из текста.

Она была раньше, чем свет и чем слово,

чем первая искра во мраке зажглась.

Её не возьмёшь ни клинком, ни подковой —

её только держат. И держат сейчас.
Раз в семь лет из-под камня, из ила, из тины

она поднимается, гасит огни.

Не шашка спасает, не знак — а спины

своих, что стоят с тобой в чёрные дни.
Её не убить — её можно лишь запереть

на семь долгих лет под тяжёлой плитой.

А значит, успей за семь лет повзрослеть

и встать на курган, когда грянет седьмой.
Из летописи. Почерк неизвестен

Пролог. Под плитой



На Николу в плавнях всегда тихо.

Гордей знал это с детства. Дед говорил: Никола зимний зиму запирает, как хозяин запирает ворота на ночь. Лёд встаёт на ериках. Камыш стоит седой, звонкий, тронешь — звенит, как стекло. Рыба уходит в ямы и спит. И даже ветер с лимана дует тише, будто боится кого-то разбудить.

В эту ночь ветра не было совсем.

Гордей поднялся на курган в одиннадцатом часу. Один. Тарас спал. Гордей сам дал ему таблетку, потому что обваренная рука ныла так, что малой третью ночь лежал и смотрел в потолок. Теперь он спал, отвернувшись к стене, и перевязанную руку держал на груди, бережно, как держат котёнка.

Курган был невысокий. В плавнях всё невысокое, кроме неба. Летом на нём паслись козы, и с дороги он казался просто бугром за каналом, поросшим полынью. А зимой, когда полынь ложилась и снег выбеливал склоны, было видно, какой он круглый. Слишком круглый для бугра. Как будто кто-то очень давно положил здесь крышку. И придавил.

Плита лежала на самой вершине. Серая, плоская, вросшая в землю так, что края не видно. На ней была выбита молния. Старая, стёртая, её можно было найти только пальцами. Гордей нашёл. Присел. Положил на камень ладонь.

Камень был тёплый.

В декабре. В ночь, когда на ериках стоял лёд толщиной в ладонь. Камень был тёплый, как печной бок под утро, когда дрова уже прогорели, а печка ещё дышит.

Гордей снял шапку. Наклонился. И приложил к плите ухо.

* * *

Он слушал долго.

Сначала было тихо. Только кровь стучала в ушах, своя. Потом, под этим стуком, глубже, он услышал другой.

Тук.

Долгая пауза.

Тук.

Как будто там, внизу, под камнем, под землёй, под всеми слоями ила, глины, костей и черепков, которые плавни копили веками, медленно билось огромное сердце. Раз в минуту. Может, реже.

Семь лет назад, в ночь на Николу, оно билось так же. Гордей помнил. Ему тогда было двадцать, и дед Лукьян привёл его сюда, усадил рядом и сказал: «Слухай». Гордей послушал и спросил, что это.

Дед долго молчал. А потом сказал на балачке, как всегда говорил о серьёзном:

— Цэ вона. Дышэ. Ще спыть, а вжэ дышэ.

— Кто — она?

— Та, шо була до свиту. — Дед погладил плиту, как гладят коня. — Ни нечисть, ни бис, ни видьма. Тэмрява. Та, шо була, колы ще ничого нэ було. И хочэ, шоб знову ничого нэ було.

Гордей тогда не понял. Ему было двадцать, и он думал, что всё на свете можно убить. Если не шашкой, так огнём. Если не огнём, так знаком. Он так и спросил: а убить её можно?

Дед усмехнулся в усы. Не весело.

— Тэмряву нэ вбъешь, сынку. Ии тилькы тримають. До свитанку. А потим плыта. И знову сим рокив.

Её не убьёшь. Её только держат. До рассвета. А потом плита. И снова семь лет.

Через месяц деда не стало.

* * *

Гордей сел на плиту. Прямо на тёплый камень. Положил рядом тесак.

Тесак лежал на снегу и светился. Слабо, неровно, как угли в печи, которую забыли закрыть. В нём было три искры. Три чужих искры, вырванных из чужих курганов. Он прошёл ради них пол-Кубани. Он дрался ради них с курганными, с теми двумя братьями из Курганной, у которых дед смотрел с крыльца и не пришёл. Он чуть не убил младшего. Он чуть не убил своего малого.

И всё равно их было три. А нужно было девять.

А до Рождества оставалось девятнадцать дней.

Он посмотрел на тесак. Потом на север.

На севере было темно. Плавни, лёд, камыш. Дальше степь. Дальше, далеко за степью, станица, которую отсюда не видно. Дом на краю. Крыльцо. Гордей никогда в жизни там не был. Но видел это крыльцо так ясно, будто стоял на нём сам. Семь лет видел. Каждую ночь.

А теперь на том крыльце сидели двое. И младший написал Тарасу: «Придём. Все. С огнём. Зажигайте свой — мы ответим».

Тарас показал ему сообщение. Молча. Сунул телефон и ушёл в сарай, чтобы не видеть лица брата.

Гордей читал его раз сто. Он и сейчас помнил каждую букву. «Зажигайте свой — мы ответим». Как будто это так просто. Как будто семь лет назад никто не зажигал.

«Придём».

Петро тоже говорил «приду».

* * *

Сердце под плитой стукнуло.

Гордей почувствовал это не ухом. Спиной. Камень под ним на миг стал горячее, как будто внизу кто-то повернулся во сне. И тут же снова стих.

И в тот же миг левую руку, от запястья до локтя, свело холодом.

Он закатал рукав. Знак был на месте. Тот, что с шестнадцати лет, ветвистый, как молния. Тот, что в рождественскую ночь потемнел и с тех пор так и остался почти чёрным, будто его прожгли второй раз. Знак не болел. Но по нему, от локтя к запястью, медленно ползла тень. Как ползёт по стеклу иней, когда в хате гаснет печь.

Потом тень ушла. Знак снова стал просто знаком.

Гордей опустил рукав. Руки у него не дрожали. Он не позволял им дрожать уже семь лет.

Она проснётся раньше, понял он. Не в полночь. Раньше. Она уже ворочается. Уже тянется. Уже пробует, кто наверху и сколько их.

Их было двое. Он и малой с обваренной рукой.

* * *

Он собирался уйти. Взял тесак, надел шапку, встал.

И тут увидел следы.

Они шли по снегу с той стороны кургана, от канала. Неторопливо, ровно, как ходит человек, который знает дорогу. Поднимались на вершину. Останавливались у самой плиты, с другой стороны. Там снег был примят, как будто кто-то стоял здесь долго. Час. Может, больше. Стоял и смотрел туда же, куда сейчас смотрел Гордей. На север.

А потом следы уходили. Обратно, к каналу. И обрывались на льду.

Гордей присел. Сапоги. Большие, старые, с подковкой на каблуке. Таких сейчас не носят. Так в его детстве ходил дед.

Он потрогал примятый снег. Снег был твёрдый, подмёрзший. Значит, человек стоял тут не сегодня. Вчера. Или позавчера. Или неделю назад.

И пахло. Еле-еле, на самом краю, так, что Гордей сначала решил, что ему кажется. Табаком. Не сигаретами. Табаком, крепким, самосадом, каким пахло от деда.

Гордей долго сидел на корточках у этих следов. Потом встал и пошёл по ним вниз. Дошёл до канала. На льду следов не было. Совсем. Лёд был гладкий, чистый, ни царапины. Как будто человек дошёл до края и шагнул в воздух.

— Эй, — сказал Гордей в темноту. Негромко. — Ты кто?

Плавни молчали.

Камыш стоял седой и звонкий. Звёзды висели низко. Где-то далеко, у лимана, треснул лёд, и звук пошёл по воде, по льду, по камышу, долгий, как стон.

Никто не ответил.

* * *

Домой он вернулся за полночь.

Тарас спал. Телефон лежал рядом с ним на подушке, экраном вниз. Гордей постоял над братом. Поправил ему одеяло. Как когда-то, когда малому было четырнадцать, и он плакал во сне, и звал мать, и батю, и деда, по очереди, а Гордей сидел рядом и не знал, что с этим делать.

Потом он вышел в сени. Долго рылся в углу, где стоял дедов хлам, который он семь лет не мог ни выбросить, ни трогать. Нашёл.

Старый фонарь. Кованый, со слюдяными окошками. Дед брал его на курган каждую Рождественскую ночь. И семь лет назад тоже взял. Гордей потом нашёл его у плиты, разбитый, погасший, и принёс домой, и поставил в угол, и больше не трогал.

Он протёр окошки рукавом. Одно было треснуто. Налил керосина. Зажёг.

Фонарь загорелся не сразу. Сначала зачадил, затрещал, будто отвык. Потом пламя выровнялось. Жёлтое. Тёплое. Ровное.

Гордей вынес его на крыльцо. Вбил в столб гвоздь, повыше, чтобы видно было с дороги. И повесил.

В Тёрновом Куте было три жилых двора. В двух окна давно не горели после девяти. А теперь на краю хутора, на крыльце у Нечитайло, впервые за семь лет горел свет.

Гордей сел на ступеньку. Под фонарём. Посмотрел на север.

Он не знал, придут ли они. Не знал, хватит ли их, если придут. Не знал, кто стоял на его кургане с той стороны плиты и куда ушёл по льду, не оставив следа.

Он знал только, что до Рождества девятнадцать дней. И что под плитой, глубоко, медленно, как огромное сердце, бьётся тьма, которая была раньше света.

И ждёт.

— Ну, — сказал Гордей фонарю. Тихо. — Посмотрим, курганный. Посмотрим.

Фонарь горел до утра.

Глава 1. Свои

Стёпа проснулся от того, что ему было хорошо.

Он даже не сразу понял, что это. Лежал с закрытыми глазами и прислушивался к себе, как прислушиваются к тишине в доме, когда перестал стучать старый холодильник. Ничего не тянуло. Ничего не сосало под кожей. Не было того тонкого сквозняка слева, который сидел в нём месяц и к которому он привык, как привыкают к болящему зубу.

Он открыл глаза. Поднял левую руку к свету из окна.

Запястье было чистое. Ни кольца, ни следа. Только синяя жилка под кожей, как у всех людей. Стёпа долго смотрел на эту жилку. Он будто отвык от неё.

Потом он задрал штанину пижамы.

Знак лежал на правой голени, от щиколотки до колена. Золотистый, тёплый, целый. Без тёмных пятен, без провалов, которые он видел в нём в Горячем Ключе. Стёпа положил на него ладонь. Знак откликнулся теплом, как откликается на руку собака, которая соскучилась.

На соседней кровати спал Матвей. На животе, раскинув руки, с лицом в подушке, как спал с детства. На спинке кровати висел красный шарф. Аккуратно. Сложенный вдвое. Стёпа никогда в жизни не видел, чтобы брат что-то складывал вдвое.

Он ничего не сказал. Только усмехнулся и пошёл ставить чайник.

* * *

На кухне пахло блинами.

Мама стояла у плиты в старом халате, спиной к нему, и пекла. На тарелке уже выросла горка, составила бы на всю семью в десять человек. Под столом, уложив морду на лапы, лежал Рыжий и следил за каждым блином глазами, полными веры.

— Проснулся, — сказала мама, не оборачиваясь.

— Проснулся.

— Как спал?

Стёпа подумал.

— Хорошо, — сказал он. И сам удивился, как давно не говорил этого слова и не врал.

Мама перевернула блин. Положила на горку. И только потом обернулась. Посмотрела на него, долго, как смотрела вчера на крыльце. И вдруг улыбнулась.

— Ты цветом другой, — сказала она. — Вчера был как стена. А сегодня свой.

Она села напротив. Налила ему чаю. Налила себе. И сказала неожиданно, так, словно продолжала разговор, который вела с собой всю ночь:

— На Рождество вы опять уедете.

Стёпа не ответил.

— Я вчера не спала, — сказала она. — Спала, конечно. Но слышала. Как ты на крыльце сидел. Как Матвей вышел. Даже как телефон пискнул. — Она помолчала. — И видела, как ты свет на крыльце не выключил.

— Мам…

— Я не прошу рассказывать. — Она подняла ладонь. — Я твоего деда один раз спросила, куда он смотрит. Один раз. И потом всю жизнь жалела. Не потому, что он не ответил. А потому, что у него такое лицо сделалось… — Она не договорила. — Не хочу я у вас такое лицо видеть. Уезжайте. Только чтобы оба вернулись.

Она встала. Вышла в коридор. Стёпа слышал, как скрипнула дверца старого шкафа, как зашуршали плечики. А потом она вернулась и положила ему на колени кожух.

Старый. Овчинный, тяжёлый, с потёртым воротником. Пахнущий нафталином и чем-то ещё, очень слабым, давним. Дедовым.

— Тот самый, — сказала мама. — Который он в ту ночь с вешалки снял и так и не надел. Всю ночь в руках держал. — Она поправила воротник, как поправляет его человеку, который уже в нём. — Ты надень.

* * *

После завтрака Стёпа пошёл в школу.

Не потому, что так было надо. Потому, что надо было хоть что-то сделать нормальное. Месяц он не видел своих пацанов. Месяц вместо него занятия вёл физрук, Сергей Петрович, который считал, что лучшая тренировка — это двадцать кругов вокруг стадиона, а потом «играйте, как хотите».

В спортзале было холодно и гулко. Десять пацанов лет по двенадцать сидели на скамейке и пинали мяч друг другу, лениво, без души. Увидев Стёпу в дверях, они замерли. Потом Ванька Соколов, самый маленький и самый голосистый, заорал:

— Степан Андреевич вернулся!

И десять человек кинулись к нему так, что чуть не сбили с ног.

Он провёл с ними два часа. Разминка, квадрат пять на два, удары с лёта, двусторонка в конце. Пацаны играли как сумасшедшие. Стёпа свистел, показывал, ставил ноги, и всё время чувствовал, как в нём что-то встаёт на место. Как позвонок после хорошего массажиста.

Вот это тоже застава, подумал он. Маленькая. Десять пацанов в холодном зале, которые ждали.

В конце Ванька подошёл к нему, когда остальные уже переодевались.

— Степан Андреевич. А вы ещё уедете?

— Уеду, — сказал Стёпа. Он не стал врать. — После новогодних.

— Надолго?

— Нет. На неделю. Тренероваться всё равно будете. Я Сергею Петровичу план оставлю.

Ванька скривился.

— Он опять двадцать кругов заставит.

— Заставит, — согласился Стёпа. — А ты беги. На третьем тайме спасибо скажешь.

— В футболе нет третьего тайма.

— Вот и проверим.

* * *

К обеду пришла бабушка.

Пришла не одна. С корзинкой, из которой торчала банка с сметаной, край пирога, завёрнутого в полотенце, и связка сушёной полыни. Полынь она молча положила на подоконник, а на вопрос Стёпы, зачем, ответила на балачке, просто и коротко:

— Шоб було.

И больше ничего объяснять не стала.

Она долго сидела с Кузьмичом. Домовой сидел у неё на колене, чего никогда не позволял никому, и рассказывал что-то своим скрипучим голоском, а бабушка кивала и гладила его по спине одним пальцем. Стёпа слышал обрывки: «…Мотря…», «…в горах…», «…соты…». Бабушка улыбалась. А потом Кузьмич сказал что-то ещё, совсем тихо, и бабушка перестала улыбаться.

Посмотрела на Стёпу.

— Тёрновый Кут, — сказала она. Уже по-русски. — Это там, где вода?

— Ты откуда знаешь?

Бабушка не ответила. Сняла Кузьмича с колена, посадила на стол, поправила платок. И сказала, глядя в окно, на курган за балкой:

— Мать моя говорила: есть вода, которую не пьют. И есть ночь, которую не спят. И есть люди, которых не оставляют. — Она повернулась к нему. — Я думала, это присказка. А вы приехали, и я поняла: не присказка.

И ушла на кухню помогать маме. А Стёпа остался сидеть с открытым ртом.

А Кузьмич на столе скрестил руки на груди и довольно хмыкнул. Как человек, который самое главное давно знал.

* * *

Вечером они сели за кухонный стол. Двое. Летопись посередине, тетрадный листок и ручка.

Летопись открылась на карте. На той самой, с десятками холмиков и реками, как жилки на листе. Стёпа теперь знал по именам целую горсть этих холмиков. Солёный. Плавни Охрима. Тамань. За Северской. Горячий Ключ.

И на юге, в плавнях, у самого края листа, горела точка.

Не красная. Не голубая. Чёрная. Стёпа сначала решил, что это клякса. Тронул пальцем. Клякса не стёрлась. Бумага под ней была холодная, как лёд. И точка была не точкой. Она была дыркой. Стёпа наклонился и понял, что смотрит не на бумагу, а в глубину. В чёрную, бездонную глубину размером с горошину.

Он захлопнул летопись. Резко.

— Ты чего? — Матвей поднял голову.

— Ничего. — Стёпа положил на обложку ладонь. В ладони всё ещё был холод. — Надо будет тебе показать. Но не сейчас. Давай список.

Он взял ручку. Синюю, обычную. Подумал. И написал сверху:

«Свои».

Ниже пошло столбиком.

«Олеся и Даша. За Северской. Сказали: придём».

«Илько. Тамань. 14 лет. НЕ БРАТЬ».

Матвей фыркнул.

— Он сам придёт.

— Вот поэтому заглавными.

«Охрим. Плавни. Слово держит. Спросить, что знает про воду».

«Горячий Ключ. Курган Саввы без сторожа. Кто?»

«Курганная. Наш курган. Кто останется?»

«Тёрновый Кут. Гордей и Тарас. Впустит ли?»

Он посмотрел на список. В нём было больше вопросов, чем людей.

— У меня турнир, — сказал Матвей. — Двадцать первого. Это в воскресенье. Краснодар. Палыч звонил сегодня. Сказал, если не приеду, в сборную края меня в этом году не возьмут. В следующем тоже.

Стёпа посмотрел на брата. Брат смотрел в стол.

— Ты хочешь? — спросил Стёпа.

— Хочу, — сказал Матвей. В стол. — Глупо, да? Там мир кончается, а я драться хочу. В клетке. За медальку.

Стёпа взял ручку. И в самом верху, над всеми вопросами, написал:

«21. Краснодар. Турнир. Угол — я».

Матвей долго смотрел на эту строчку.

— Это не глупо, — сказал Стёпа. — Это то, ради чего мир держат. Чтобы люди могли драться за медальки. И пинать мяч в холодном зале. И печь блины.

Матвей хмыкнул. Но уши у него покраснели.

* * *

Уже ночью, когда Стёпа лёг, телефон пискнул дважды.

Первое было от Тараса. Без скобочки в конце, что у Тараса значило: серьёзно.

«Гордей вчера дедов фонарь на крыльцо повесил. Первый раз за 7 лет. Ничего не сказал. Просто повесил. И ещё. Плита тёплая. В декабре. Он думает, я не знаю».

Стёпа перечитал это три раза. Фонарь на крыльце. Он понял, что улыбается в темноте.

Второе было от Илько. Без заглавных, без запятых, как пишут четырнадцатилетние.

«море молчит».

Стёпа написал: «Как молчит?»

Ответ пришёл не сразу. Стёпа уже начал засыпать.

«совсем. даже волны тихо бьют. чайки улетели. бабка говорит так бывает когда кто-то большой просыпается и море его слушает. а ещё рапан у вас как?»

Стёпа сел на кровати.

Рапан. Он вчера положил его на плиту кургана. И не ходил смотреть.

Он оделся за минуту. Джинсы, свитер, а сверху, сам не зная почему, дедов кожух. Вышел на крыльцо, под жёлтую лампочку. И пошёл через балку к кургану.

На вершине было тихо. Плита лежала под тонким снегом. Две выбитые ладони, одна над другой. И рядом, там, где он его оставил, рапан.

Рапан не светился.

Стёпа взял его в руки. Раковина была холодная и тёмная, обычная, как те, что летом продают на набережной по сто рублей. Он поднёс её к уху, как в детстве.

И услышал.

Не море. Моря в раковине не было. Там было другое. Далёкое, медленное, тяжёлое.

Тук.

Долгая пауза.

Тук.

Стёпа опустил раковину. Положил на плиту. Сердце у него самого стучало часто-часто, как после рывка на сорок метров.

Он посмотрел на юг.

Там, далеко, за степью, за полями, за плавнями, на крыльце горел фонарь. Он не мог его видеть. Но знал, что горит.

А под тем фонарём, под курганом, под плитой, билось сердце, которое было старше света. И его уже слышало море в Тамани. И раковина на его кургане.

До Рождества оставалось восемнадцать дней.

Глава 2. Турнир



В спорткомплексе на Российской пахло так, как пахнет во всех спорткомплексах мира. Резиной, хлоркой, согревающей мазью и потом. Стёпа вдохнул этот запах в дверях и почувствовал, как из него уходит что-то тяжёлое. Здесь не было курганов. Здесь были весы, судьи, протокол и сетка на стене, расчерченная маркером.

Матвей стоял у этой сетки и искал себя.

— Вот, — сказал он. — Юниоры, до семидесяти. Первый бой с каким-то Хорошевым из Тихорецка. Потом, если пройду, полуфинал. А в другой половине… — Он замолчал.

Стёпа проследил за его пальцем. В другой половине сетки, первым номером, стояло: «Абдулаев Т. (Майкоп)».

— Знаешь его?

— Он меня в мае задушил. Во втором раунде. — Матвей сказал это ровно, без злости. Так говорят о старом перелом. — Там борец. Настоящий. С пяти лет на ковре. Он не дерётся, он просто заворачивает тебя, как ковёр, и садится сверху.

Он помолчал.

— Стёп. Если что, я знак зажигать не буду.

Стёпа посмотрел на него.

— Я и не просил.

— Я знаю. Я просто говорю. — Матвей тронул левое предплечье, под рукавом. — В сентябре я не знал, что это. А теперь знаю. И это… — Он поискал слово. — Это как с ножом в баню прийти. Там пацаны по пять лет пахали. А я им мир замедлю? Нет. Тут я как все.

Стёпа ничего не сказал. Просто положил брату руку на затылок. Как клал своим пацанам перед пенальти. И они пошли на взвешивание.

* * *

Первый бой Матвей выиграл за минуту сорок.

Хорошев из Тихорецка был высокий, худой и очень смелый. Он пошёл вперёд со свистком, махая руками, как мельница. Матвей два раза ушёл назад, на третий сделал шаг в сторону и встретил коротким левым в печень. Хорошев сложился, сел, и на лице у него было такое искреннее удивление, что Стёпе стало его жалко.

Полуфинал был тяжелее. Коренастый парень из Армавира все три раунда пёр вперёд и бил по ногам. К концу третьего раунда Матвей прихрамывал на левую, и Стёпа в углу стиснул зубы так, что заболела челюсть. Но противник устал раньше. Судьи отдали победу Матвею, два голоса против одного.

Палыч, тренер Матвея, маленький, лысый, с ушами, похожими на пельмени, после полуфинала отвёл Стёпу в сторону.

— Ты ему что в углу говорил?

— Что тот перед лоу-киком плечо опускает. Каждый раз.

Палыч посмотрел на него с подозрением.

— Ты же футболист.

— Футболист. На поле то же самое. Защитник перед подкатом плечо опускает. Все опускают. Тело врать не умеет.

Палыч пожевал губами.

— На финал сам в угол встанешь, — сказал он. Не спросил. — А я сзади постою. Посмотрю, что ты за футболист.

* * *

Дашу Стёпа увидел в перерыве перед финалами.

Она сидела на трибуне, в третьем ряду, между толстой тётей с плакатом «РУСТАМ, ВПЕРЁД» и дедом в спортивной шапке. В куртке, с короткой стрижкой и с лицом человека, кото-

рый совершенно случайно зашёл погреться. На коленях у неё стояла сумка. Из сумки торчала банка с чем-то золотым.

Стёпа поднялся к ней по ступенькам.

— Даша?

— Мимо ехала, — сказала Даша. Сразу. Без «привет». — Мёд везла. На рынок. В воскресенье. А тут вижу, афиша. Думаю, дай зайду.

— Рынок в воскресенье до четырёх.

— У меня мёд плохо берут.

— У тебя две банки.

Даша посмотрела на него так, что Стёпе захотелось спуститься обратно.

— Курганный, — сказала она. — У тебя брат через двадцать минут с борцом дерётся. А ты тут банки считаешь.

— А ты откуда знаешь, что с борцом?

Даша на секунду запнулась. И стала красная, вся, до корней коротких волос.

— Слышу, — сказала она сквозь зубы. — Я же слышу. Он во втором ряду сидит и про него думает. Да иди ты. Угол держать.

И отвернулась.

Стёпа спустился. И уже внизу, у самой клетки, вдруг сообразил: он ведь не сказал ей, что Матвей в финале. А она знала. Значит, сидела тут с самого утра. С первого боя.

Мимо ехала.

Он решил не говорить Матвею. После боя. Всё после боя.

* * *

Абдулаев Тимур был ниже Матвея на полголовы и шире в плечах. Шея у него начиналась сразу от ушей. Уши были плоские, борцовские, как пельмени у Палыча, только молодые. Он не смотрел на Матвея. Он смотрел чуть ниже, на его колени. Как смотрит на курицу тот, кто собирается её ловить.

Первый раунд Тимур выиграл.

Он прошёл в ноги на сороковой секунде, чисто, красиво, как по учебнику. Уронил. И две минуты лежал на Матвее, как мешок с цементом, и бил коротко, не сильно, но часто, чтобы судьи видели. Матвей закрывался, вертелся, пытался встать у сетки. Не встал.

В перерыве он сел на табуретку, и Стёпа видел, что у него дрожит левая рука. Не от усталости. Предплечье, вот тут, под кожей, билось, как птица под рубашкой. Знак просился наружу.

Матвей прижал руку к бедру. Сильно. Как прижимал тогда, в ноябре, перед боем с рыжим.

— Не зажигай, — сказал Стёпа.

— Я и не… — Матвей дышал часто. — Я не собираюсь. Стёп, он меня задавит. Он сильнее. Просто сильнее.

— Не сильнее. Умелее. Это разное. — Стёпа присел перед ним, так чтобы глаза были вровень. — Слушай меня. Он проходит в ноги с правой. Всегда с правой. И перед этим дважды трогает тебя левой рукой. Раз-два. Мерит дистанцию. Как столяр рулеткой. Видел?

Матвей молчал.

— Раз-два, — повторил Стёпа. — И на «три» ныряет. Ты не жди «три». На «два» уходи влево и встречай коленом. Он сам на него наденется. Без всяких знаков. Просто ногами. Без чудес.

За его спиной кашлянул Палыч. Не одобрительно. А так, как кашляют люди, которые собирались сказать то же самое и не успели.

* * *

Во втором раунде Тимур дважды тронул Матвея левой. Раз. Два.

И Матвей ушёл влево.

Колено встретило Тимура в самом начале нырка. Не в лицо, в плечо, вскользь, но этого хватило. Тимур провалился мимо, на сетку, и Матвей оказался у него за спиной. Первый раз за весь бой. Зал ахнул.

Тимур выкрутился. Он был настоящий борец, с пяти лет на ковре, и выкрутился бы из чего угодно. Но теперь он был осторожен. Теперь он перед каждым проходом думал. А пока он думал, Матвей бил. Джеб, джеб, лоу-кик. Джеб, джеб, уход. Скучно, как на тренировке. И очко за очком.

Третий раунд Стёпа не помнил. Вообще. Он потом пытался вспомнить и не мог. Помнил только, что орал. Сипло, дико, как на стадионе в девять лет, когда дед впервые взял его на «Кубань». И что на трибуне, в третьем ряду, кто-то орал ещё громче него, тонким и злым девчочьим голосом: «Не стой! Не стой, балбес!»

А потом был гонг. И судья посередине клетки держал их обоих за запястья, мокрых, красных, дышащих, как загнанные кони. И минута тишины, пока судьи передавали бумажки. И голос из динамика, скучный, казённый:

«Победа раздельным решением судей. Головатый. Матвей. Станица Курганная».

И рука Матвея пошла вверх.

Тимур постоял. Потом подошёл и обнял Матвея, коротко, по-борцовски, одной рукой. И сказал что-то ему на ухо. Матвей кивнул.

Потом, в раздевалке, Стёпа спросил, что.

— Сказал, в мае всё равно задушит. — Матвей улыбался разбитой губой. — Нормальный пацан.

Он сидел на лавке с золотой медалью на шее и смотрел на свою левую руку. Знак под кожей был тихий. Совсем тихий, как будто тоже устал.

— Стёп, — сказал он. — Я его сам. Ничем. Просто сам.

— Знаю.

— Ты не понимаешь. В сентябре у меня знак появился. И я всё время думал: а вдруг всё, что я до этого выигрывал, это тоже он? Тихонько. А я не знал. — Он покрутил медаль в пальцах. — А теперь знаю, что нет. Это я. Это ноги. И ты в углу.

Стёпа посмотрел на него и почему-то не нашёл, что сказать. Только взял с лавки полотенце и кинул брату на голову.

* * *

Когда они вышли из раздевалки, зал уже пустел.

Даши в третьем ряду не было.

На её месте стояла банка. Золотая, с крышкой, завязанной синей ленточкой. Под ленточкой складная бумажка.

Матвей поднялся к ней так, будто в банке была бомба. Развернул бумажку. Стёпа стоял внизу и делал вид, что смотрит на табло. На табло были нули.

Бумажка была короткая. Матвей читал её очень долго.

Потом спустился. С банкой под мышкой и с лицом, на котором было написано, что он никому никогда ничего не расскажет.

— Что там? — спросил Стёпа.

— Мёд.

— А в бумажке?

Матвей помолчал. Потом всё-таки протянул. Не выдержал. Ровным круглым почерком, с кружочком вместо точки над «ё», там было написано:

«Для чемпиона. Со слиней смешано, чтобы синяки сходили. Надо было на «два» уходить с первого раунда. Шарф не потеряй. Д.»

Стёпа перечитал. Потом ещё раз.

— Она же не слышала, что я тебе в углу говорил. Там шум был.

— Она не тебя слышала, — сказал Матвей. И забрал бумажку. — Она меня.

И ушёл к выходу так быстро, что Стёпа едва его догнал.

* * *

Уже у дверей Стёпа обернулся.

Сам не знал почему. Просто затылком почувствовал взгляд. Как на поле чувствуешь спиной защитника, который идёт в подкат.

Зал был пуст. Уборщица со шваброй у клетки. Парень в футболке организаторов скатывал баннер. И наверху, в самом последнем ряду трибуны, под самыми лампами, сидел человек.

Старый. В длинном тёмном пальто и в кубанке, серой, каракулевой, сдвинутой на затылок. Сидел, положив руки на колени, и смотрел вниз. Не на клетку. На них. На них двоих.

Лица Стёпа не видел. Лампы светили старику в спину, и лицо было в тени. Только усы. Длинные, седые, как у старых казаков на фотографиях в школьном музее.

И Стёпе вдруг показалось, что пахнет табаком. Здесь, в спорткомплексе, где везде висели таблички «Не курить». Крепким самосадом, как пахло от стариков у магазина в его детстве.

— Матюх, — сказал он. — Смотри. Наверху.

Матвей обернулся.

Последний ряд был пуст. Синие пластиковые кресла. Лампы. И никого.

— Что?

— Там сидел дед. В кубанке.

Матвей посмотрел туда ещё раз. Потом на брата.

— Стёп. Тут целый день деды сидели. Тут половина зала деды.

Стёпа ничего не ответил. До лестницы наверх было метров тридцать. Старик не мог уйти за те две секунды, пока Матвей оборачивался. Никто бы не смог.

Он втянул носом воздух. Резина, хлорка, согревающая мазь. И всё.

Он не стал спорить. Просто взял у брата сумку с формой, как брал всегда после его боёв, и пошёл к машине. А в голове сидела одна мысль, и от неё не удавалось отделаться до самой Курганной.

Старик смотрел не на клетку. Он смотрел на них. Так смотрит тренер с трибуны на новеньких, приехавших на просмотр.

Оценивающе.

До Рождества оставалось семнадцать дней.

Глава 3. Солнцеворот

Василий Семёнович встретил их на дамбе так, будто ждал с утра. Стоял у своей «Нивы» в телогрейке и в резиновых сапогах, с термосом под мышкой, и смотрел на них, прищурившись.

— Так, — сказал он вместо приветствия. — Опять к нему.

— К нему, — сказал Стёпа.

— В солнцеворот. — Василий Семёнович сплюнул в снег. — Моя бабка в солнцеворот даже ведро из колодца не доставала. Говорила, в самую длинную ночь вода слушает. А вы в плавни прётесь.

— Нам надо.

— Вам всегда надо. — Он сунул термос Стёпе в руки. — На. Чай с чабрецом. До бугра провожу. Дальше не пойду, вы уж не обижайтесь. У меня Лёха до сих пор во сне копает.

Лёха был жив, здоров и навсегда перестал ходить на рыбалку в ту сторону. Василий Семёнович рассказал это по дороге, пока они шли по дамбе. А ещё рассказал, что на бугре с того дня, как вернули искру, каждую ночь горит огонёк. Маленький, красный. И что рыба пошла такая, какой старики не помнят.

— Доволен он, — сказал Василий Семёнович и кивнул в сторону бугра. С уважением. Как кивают в сторону соседа, который всегда ворчит, но даёт взаймы. — Слово держит.

* * *

Солнце село в четыре сорок.

Стёпа посмотрел на часы, когда оно коснулось камыша. И почему-то запомнил. Самая длинная ночь в году началась в четыре сорок, когда дети в их станице ещё только идут со сдвоенных уроков.

Плавни темнели с воды. Сначала ерики между камышами, затянутые тонким серым льдом. Потом сам камыш. Потом дамба под ногами. И только небо долго стояло над ними бледное, желтоватое, как старая бумага.

Рыжий шёл у ноги Матвея и не отходил ни на шаг. Кузьмич сидел у Стёпы за пазухой, в дедовом кожухе, и тоже молчал. Домовой притих ещё на трассе, когда они свернули к лиманам. Стёпа чувствовал его сквозь свитер. Маленькое сердце билось часто, как у воробья.

А потом впереди, в камышах, зажёгся огонёк.

Маленький. Жёлтый. Тёплый, как окно в хате.

— Вон, — сказал Матвей. — Семёныч же говорил, на бугре огонёк.

— Он говорил, красный.

Они остановились. Огонёк не двигался. Потом рядом с ним зажёгся второй. Потом третий, правее. Потом сразу много, целая цепочка, как фонари вдоль улицы, и все вели вглубь камыша, в сторону от дамбы. В ту сторону, где под тонким льдом стояла чёрная вода.

И стало тепло.

Стёпа почувствовал это сразу, всем телом. Как будто там, в камышах, открыли дверь в натопленную кухню. Пахнуло блинами. Маминым. И ещё чем-то, от чего сжалось горло. Дедовым табаком. Отцовским одеколоном, который он слышал всего одну осень и думал, что забыл.

Ноги сами сделали шаг. С дамбы. Вниз.

И в тот же миг Кузьмич у него за пазухой вцепился ему в грудь всеми десятью пальцами, с когтями, до крови, и завизжал так, что у Стёпы заложило уши:

— Не гляди! Не гляди на них! Это не огонь! Это дырки!

Стёпа замер. Одна нога на дамбе, другая уже на склоне. Рядом с ним стоял Матвей, и лицо у него было сонное, счастливое, детское. А Рыжий стоял перед Матвеем, уперевшись лбом ему в колени, и толкал назад. Молча. Изо всех сил.

Стёпа схватил брата за шиворот. Дёрнул наверх, на дамбу. Оба упали в снег.

И огоньки погасли. Все сразу. Без звука. Как будто кто-то там, в темноте, дунул.

Матвей сел. Потряс головой.

— Я маму слышал, — сказал он. Ошарашенно. — Она меня ужинать звала.

— Я знаю.

— А ты?

Стёпа не ответил. Вынул из-за пазухи Кузьмича. Домовой трясся весь, с ног до бороды.

— Спасибо, — сказал Стёпа.

Кузьмич посмотрел на него. Потом в сторону камышей. И сказал тихо, скрипучим, серьёзным голоском, каким Стёпа его никогда не слышал:

— В солнцеворот она себе глаза проделывает. Везде, где вода. И смотрит. Кто идёт. Сколько их. И чего они больше всего хотят.

— Кто она?

Кузьмич не ответил. Только залез обратно за пазуху и больше оттуда не выглядывал до самого бугра.

* * *

На бугре горел красный огонь. На том же камне, что и в ноябре. Ровный, без дыма. Яма рядом с ним была засыпана, заровнена и притоптана так аккуратно, будто кто-то ходил по ней неделю туда-сюда босиком.

Охрим сидел у огня. Огромный, в красном жупане, с усами, заткнутыми за пояс. В руках у него был фонарь, тот самый, кованый, со слюдяными окошками, и он чистил его рукавом. Неторопливо. Как чистят оружие перед походом.

Увидев их, он не встал. Только поднял глаза, красные, ровные, и сказал на балачке своим гулким голосом, будто из бочки:

— Дирки бачилы?

— Видели, — сказал Стёпа.

— Не пишлы. — Охрим кивнул, довольный. — Разумни. А та застава, шо двисти лит назад тут стояла, пишла. Вся. Отак з дамбы и пишла.

Он поставил фонарь на камень. Похлопал ладонью по земле рядом с собой, и земля гулко отозвалась.

— Сидайте, хлопци. Знаю, шо питаты прийшлы. Про воду.

* * *

Он рассказывал долго. Не торопясь, с паузами, иногда сбиваясь с балачки на какую-то совсем древнюю речь, которую Стёпа не понимал ни слова, а потом снова возвращаясь. Рассказывал так, как рассказывают старики то, что сами слышали в детстве от стариков.

Стёпа потом записал это в летопись. По-русски. Как запомнил.

До света была тьма. Не ночь. Ночь — это когда свет ушёл и вернётся. А тогда света ещё не было никогда. И тьма была всем. И водой, и небом, и землёй, потому что ни воды, ни неба, ни земли ещё не было.

А потом сказано было слово. И стал свет.

И тьма ушла. Не умерла, её нельзя убить, как нельзя убить пустоту. Ушла вниз. Под землю, под воду, под самое дно. И легла там. И с тех пор хочет одного: чтобы всё снова было как до слова. Пусто. Тихо. Темно. Ничего.

Она не злая, сказал Охрим. Злыми бывают те, кто чего-то хочет для себя. А ей для себя ничего не надо. Ей надо, чтобы и себя не было.

А нечисть — это её капли. То, что просочилось наверх за века и обросло телом. Анчутки, лихоманки, ырки. Капля тьмы, которая захотела жить. И завидует живым. Потому и пьёт их.

А курганы — это замки. Их поставили там, где тьма ближе всего подходит к свету. И в каждый положили искру. Крошку того самого первого света. Чтобы держала.

А в Тёрновом Куте не замок.

В Тёрновом Куте крышка.

— Крышка? — переспросил Матвей.

Охрим долго смотрел в огонь. Потом сказал по-русски. Медленно, тщательно, словно чтобы ни одного слова не потерялось по дороге.

— Все курганы держат капли. А тот держит всю. Раз в семь лет она поднимается и толкает крышку. И если крышка не удержит… — Он помолчал. — У вас в телефонах свет есть. Выключите его ночью в хате и посмотрите вокруг. Вот так. Только навсегда. И не в хате. Везде.

Рыжий тихо заскулил.

— А убить её можно? — спросил Матвей. И Стёпа подумал, что точно так же, наверное, семь лет назад спрашивал своего деда Гордей. И каждый парень на каждом кургане двести лет подряд.

Охрим усмехнулся. В усы. Невесело.

— Шашкою? — Он кивнул на Стёпин пояс. — Шашка рубает то, у чего тело есть. А у неё тела нет. У неё ничего нет. Вы воду рубить пробовали? А темноту? Нет, хлопцы. Её не убивают. Её держат. До рассвета. А потом крышка. И снова семь лет. И снова. И снова. И так до самого конца света.

— А если не удержать?

— То и будет конец света, — просто сказал Охрим. — Не всего. Сначала плавней. Потом дальше. Она не спешит. У неё времени больше, чем у света.

* * *

Огонь на камне трещал. Над плавнями стояла самая длинная ночь в году, и звёзд в ней не было. Ни одной. Стёпа только сейчас это заметил.

— Когда я ещё живой был, — сказал Охрим и снова перешёл на балачку. — Колы ще жывый був, то в Риздво туды вси йихалы…

Он осёкся. Помотал головой, будто сам себе не верил.

— Все, — повторил он по-русски. — Со всей Кубани. Двенадцать застав. С Тамани братья Руденки на лодке. Из-под гор старик, слепой, который видел лучше зрячих. Из вашей Курганной — один, высокий, с усами простой казачина, а слово скажет — все молчат. Все стояли. Вокруг крышки. Плечо к плечу. И удержали. И один отвечал другому огнём. И никто не умер. Никто.

Он помолчал.

— А потом забыли. Сначала одни не приехали, потому что далеко. Потом другие, потому что война. Потом третьи, потому что у себя курган стоит, что им чужая крышка. И каждый стал сидеть на своём. А в Тёрновом Куте стали стоять трое. Потом двое. Потом…

Он не договорил. Стёпа и так знал конец. Потом один. Гордей между дедом и отцом. До обеда.

Стёпа задал вопрос, который вертелся у него с самого турнира.

— А тот, из Курганной. Высокий, с усами. Кто он был?

Охрим посмотрел на него. Долго. Красными ровными глазами. И Стёпе показалось, что в этих глазах мелькнуло что-то похожее на усмешку.

— Свой був, — сказал он на балачке. — И всё.

И больше ничего не сказал.

* * *

Перед тем как они ушли, Охрим взял свой фонарь.

Открыл крошечную дверцу. Пальцами, толстыми, как черенки, взял с камня щепоть красного огня. И положил внутрь.

Фонарь загорелся. Впервые за всё время, что Стёпа его видел. Не ярко. Ровным тёмно-красным светом, как уголь в печи под утро.

— Мени… — Охрим помотал головой и начал снова, по-русски: — Мне с этого бугра ходу нет. Вы знаете. А огонь мой пусть поедет. Ваш дед факелы оставил. А зажечь их от спичек или от зажигалки — это не ответ. Это просто огонь. А ответ — это когда огонь с одной заставы пришёл на другую.

Он протянул фонарь Стёпе.

Фонарь был тяжёлый. И тёплый. И Стёпа почувствовал, как знак на его голени отозвался на него теплом. Как отзывается на оклик.

— Слово держу, — сказал Охрим.

И вдруг наклонился. Низко, так, что его лицо оказалось вровень со Стёпиным. И сказал тихо. Так, чтобы слышал только он.

— И ещё, старший. Запомни. Тьма любит то, что светится. Как мотылёк на свечу, только наоборот. Она идёт на свет, чтобы его задуть. А ваши знаки светятся ярче всего, что есть на том кургане. Понял?

Стёпа не понял. Но кивнул.

Понял он много позже.

* * *

Обратно они шли по дамбе с фонарём. И ни один жёлтый огонёк в камышах больше не зажёгся.

У «Нивы» их ждал Василий Семёнович. Он так и не уехал. Сидел в машине с выключенным мотором, в телогрейке, и на лице у него было такое выражение, будто он час назад поспорил сам с собой и проиграл.

Увидев фонарь, он долго молчал.

— Это что же, — сказал он наконец. — Он своё отдал?

— Отдал.

Василий Семёнович посмотрел в сторону бугра. Там, в темноте, над камышами, едва тлела красная точка.

— Двести лет никому ничего, — сказал он. — Даже ложки не отдавал. А тут…

Он снял шапку. Стоял так некоторое время. Потом надел.

— Куда вас теперь, хлопцы?

Стёпа посмотрел на юг. Там, за плавнями, за лиманами, был хутор в десять дворов, из которых жилых осталось три. И крышка. И фонарь на крыльце.

— В Тёрновый Кут, — сказал он. — Раз уж тут. Тут близко.

До Рождества оставалось тринадцать дней.

Глава 4. Шуликуны



Хутор Вербовый стоял в двадцати километрах от Тёрнового Кута, и дальше на «четвёрке» было не проехать.

Асфальт кончился ещё у моста через канал. Дальше шла грунтовка, разбитая тракторами в кисель, а потом подмороженная и застывшая колдобинами, как стиральная доска. «Четвёрка» два раза села на брюхо, на третий Стёпа сдался. Остановился у первой же хаты с светом в окне.

Хата была низкая, под шифером, с побелёнными стенами. На крыльце стояла старуха с кочергой в руках. Не потому, что услышала машину. Она стояла так давно, что на платке у неё лежал иней.

— Вы кто? — спросила она, не опуская кочерги.

— В Тёрновый Кут едем, — сказал Стёпа. — К Нечитайло.

Старуха опустила кочергу. Долго смотрела на них: на Стёпу в дедовом кожухе, на Матвея с красным шарфом, на Рыжего. На фонарь в Стёпиной руке, тёмно-красный, как уголь. И заговорила на балачке, быстро, шёпотом, словно боялась, что услышат:

— Та ви ж нэ доидете. Та ви ж слипи чи шо? Воно ж вжэ вылизло. Рано. Ще Риздва нема, а воно вжэ тут.

— Кто вылез?

Старуха махнула рукой в сторону канала. И сказала уже по-русски, тихо, как говорят про покойника в соседней комнате:

— Шуликуны.

* * *

Их звали баба Ганя. В хате у неё было жарко и тесно, пахло сушёной рыбой и ладаном. На печи сидели два мальчишки лет семи и девяти, внуки, и смотрели на гостей огромными глазами, а больше всего на Рыжего.

Шуликунов, рассказала баба Ганя, в их местах ждут в святки. После Рождества и до Крещения. Они вылезают из прорубей, маленькие, с кулак, с головами острыми, как колотые дрова, в высоких шапках. Носят сковородки с горячими углями. Бегают по хутору, стучат в окна, зовут детей играть. А кто выйдет, того в прорубь. И на Крещение уходят обратно, когда воду святят.

А в этом году они вылезли на Николу.

— Рано, — повторила баба Ганя. — На две недели рано. Так не бывает. Мне восемьдесят три года, и так никогда не было. Семь лет назад на десять дней раньше было. И через семь лет до того. А на две недели никогда.

Стёпа и Матвей переглянулись.

Раз в семь лет.

— У Семёновой вчера гусей утащили, — продолжала баба Ганя. — Всех троих. У Пидоричей собаку. А ночью в окна стучат и поют. Тоненько так… — Она бросила быстрый взгляд на внуков и понизила голос. — Детей зовут. По именам. Ваньку моего вчера звали. Я его за ногу у самой двери поймала. В одной рубашке шёл. И улыбался.

Мальчишка помладше на печи втянул голову в плечи.

— А сегодня? — спросил Стёпа.

Баба Ганя посмотрела на часы. Старые, с кукушкой. Без десяти полночь.

— Сегодня ещё не приходили, — сказала она.

И в окно постучали.

* * *

Стук был лёгкий, частый, дробный. Как будто стучали не кулаком, а крошечными копытцами. За стеклом была темнота. И в темноте светились угольки. Много. Десятки. Красные, дрожащие, на разной высоте, как сигареты в темноте на остановке.

А потом запели.

Тоненько, протяжно, на десять голосов, как дети на утреннике. Слов было не разобрать. Только имена.

«Ва-анька-а… Серё-ожа-а… Иди-ите игра-ать… У нас горка-а… Ледяна-ая…»

Мальчишки на печи перестали дрожать. Сразу. Оба. Лица у них стали спокойными, сонными, счастливыми. Стёпа эти лица уже видел. Два часа назад. На дамбе. У своего брата.

Старший, Серёжа, начал слезать с печи.

Баба Ганя кинулась к нему. Матвей был быстрее. Он сдёрнул с себя шарф, Дашин, красный, и накинул мальчишке на голову. На глаза. И завязал сзади, как Даша завязывала ему самому во дворе на пасеке.

Серёжа замер. Потом всхлипнул и сел на пол.

— Глазами они зовут, — сказал Матвей, держа мальчишку за плечи. — Не голосом. Голос — это так. А тянут огнём. Угольками. Как те жёлтые на дамбе. Бабушка, дайте платок для малого.

Баба Ганя смотрела на него с открытым ртом. Потом сорвала с себя платок и сама завязала младшему глаза.

А пение за окном оборвалось.

И вместо него раздался смех. Тонкий, мерзкий, злой. И что-то тяжело ударило в дверь.

* * *

Стёпа вышел на крыльцо с шашкой.

Не потому, что был храбрый. Потому, что дверь была старая и после второго удара треснула по всей длине, и сидеть за ней и ждать было хуже.

Их было много. Он не смог сосчитать. Маленькие, по колено, с острыми головами, действительно похожими на колотые поленья. На головах высокие старые шапки, как у пожарных на картинках. Ноги конские, с копытцами. И в руках у каждого сковородка. На длинной ручке. А на сковородке угли.

И только когда Стёпа присмотрелся, он понял, что угли были не углями.

Они были такие же, как та точка на карте. Дырки. Красные по краю, а внутри чёрные. Бездонные. И из них тянуло теплом. Блинами. Домом.

Шуликуны увидели его и замерли. Все разом. А потом тот, что стоял ближе всех, присел, и потянул носом. Прямо к Стёпиной ноге. К правой. К голени. Как собака тянет носом к карману, в котором колбаса.

И засмеялся. Радостно. Как ребёнок, которому показали конфету.

И все они кинулись на него.

* * *

Шашка проснулась у него в руке сама. Загудела, как провод под током. Первого она рассекла ещё в воздухе, и тот не упал, а рассыпался, как сугроб под лопатой, мокрым снегом и тиной. Второго тоже. Третьего. Шашка рубила их легко, как капусту. У них было тело. Никакое, на соплях, из ила и льда, но было. А что имеет тело, то шашка рубит.

Но их было много.

Один подкатился под ноги и плеснул со сковородки Стёпе на сапог. И Стёпа закричал. Не от боли. От холода. Холод вошёл в сапог и полез вверх, к щиколотке, к голени, к знаку. И знак дёрнулся, как живой, и засветился сквозь штанину, сам, без спроса. И шуликуны взвыли от восторга. И кинулись с новой силой. На свет.

Тьма любит то, что светится.

Стёпа рубил. И понимал, что не успевает.

И тут за спиной хлопнула дверь, и на крыльцо вылетел Матвей. Без шарфа, без куртки, в одном свитере. А в руке у него был фонарь Охрима.

Он не стал им махать. Он просто поднял его над головой.

Красный свет лёг на снег. Ровно, тяжело, как красная краска, вылитая из ведра. И шуликуны, которые в него попали, завизжали. И сковородки у них в руках потухли, как угли, на которые плеснули водой.

Чужой огонь, понял Стёпа. Огонь другой заставы. У них дырки, а у Охрима настоящий. И он их гасит.

Шуликуны попятились. От крыльца. За круг красного света. И там, в темноте, снова сбились в кучу, и снова засветились их дырки-угли. И смотрели. Не на Матвея. На Стёпу. На его ногу.

И в этот момент из темноты, со стороны канала, вылетел человек.

Худой, в кепке, в куртке нараспашку. С колом в одной руке. А другая рука, левая, перевязана бинтом до локтя, и сквозь бинт, с тыльной стороны ладони, светилось тонкое жёлтое.

Он врезался в толпу шуликунов сзади и заработал колом, как цепом. Без техники, без системы, с одной только злостью. И там, куда падал жёлтый свет с его руки, шуликуны шарахались, как тараканы от лампы.

— Курганные! — заорал он. Голос сорвался. — Гаси! Гаси знак, дурак! Ты же для них как фонарь на трассе!

Стёпа закрыл заслонку. Как учила Олеся. Вдох, и тепло внутрь, в хату, а снаружи ничего. Знак на голени погас.

И шуликуны вдруг растерялись. Замерли, завертели острыми головами, как собаки, у которых из-под носа убрали миску. Потом один взвизгнул. И все они, разом, покатились прочь, к каналу, к прорубям, и там, один за другим, попрыгали в чёрную воду. Без всплеска.

Стало тихо.

* * *

Тарас стоял посреди двора, опираясь на кол, и дышал. Кепка съехала на затылок. На лице была тина.

— Ты чего тут? — спросил Матвей.

— Я? — Тарас даже обиделся. — Я тут вторую ночь сижу. У канала. Их сторожу. А вы чего тут? Вы на Рождество должны были.

— Раньше приехали.

Тарас посмотрел на фонарь в руке Матвея. Потом на Стёпу. Потом на хату бабы Гани, из окна которой выглядывали два мальчишки с завязанными глазами. Один в красном шарфе, другой в бабушкином платке.

И вдруг улыбнулся. Растерянно. Как человек, который очень долго ждал автобус и уже не верил, а он пришёл.

— Приехали, — сказал он. Не им. Себе. — Приехали.

Потом посерьёзнел.

— Гордей не знает, что я тут. Он думает, я в сарае сплю. Он меня дальше двора не пускает. Говорит, рука не зажила. — Он посмотрел на бинт. Жёлтое сквозь него тлело, слабо, как окно вдалеке. — А тут дети. Понимаешь, курганный? У нас в куту детей нет. А тут есть. И они их зовут.

Он замолчал.

— Они не сами вылезли, — сказал он наконец. Тихо. — Их прислали. Вперёд. Как разведку. Дед так писал в тетради. Если шуликуны до Рождества полезли, значит, вода уже не спит. Значит, смотрит. Выбирает.

— Что выбирает?

Тарас посмотрел на Стёпину ногу. На правую. Туда, куда тянул носом первый шуликун.

И ничего не ответил.

* * *

Стёпа сел на ступеньку крыльца и снял сапог.

Носок был мокрый и ледяной. Он стянул и его. Задрал штанину.

Знак был на месте. Золотистый, целый, тёплый. Только у самой щиколотки, там, где начинался нижний завиток, была маленькая тёмная точка. Размером с маковое зерно. Холодная на ощупь.

Он потёр её пальцем. Точка не стёрлась.

— Стёп? — Матвей стоял над ним с фонарём. — Что там?

Стёпа опустил штанину.

— Ничего, — сказал он. — Ногу отсидел.

Он не врал брату с сентября. Ни разу. А сейчас соврал. И сам не знал почему.

Наверное, потому, что если сказать вслух, то это станет правдой.

До Рождества оставалось двенадцать дней.

Глава 5. Тёрновый Кут

Тарас приехал в Вербовый на мотоцикле.

Мотоцикл стоял за хатой бабы Гани, под навесом. Старый, советский, с коляской, выкрашенный когда-то в зелёный, а теперь в цвет ржавчины. На баке кто-то давно нацарапал гвоздём молнию.

— Батин, — сказал Тарас и погладил бак, как гладят старую собаку. — На нём он в ту ночь с пруда прилетел. Гордей его семь лет не трогал. А я осенью починил. Тайком. Он думает, я на нём за хлебом езжу.

Утром сели так: Тарас за руль, Матвей сзади, а Стёпа в коляску, с Рыжим на коленях и фонарём Охрима между ног. «Четвёрку» оставили у бабы Гани. Баба Ганя перекрестила и машину, и мотоцикл, и каждого по отдельности, Рыжего тоже. А мальчишки на прощание сказали Матвею, что когда вырастут, тоже станут бойцами. Матвей очень серьёзно пожал им руки.

Матвей с утра был тихий. На Стёпу не смотрел. Стёпа понимал почему. И молчал.

* * *

Тёрновый Кут показался через час.

Стёпа ждал чего-то другого. Чего-то страшного, тёмного, как в кино. А увидел просто хутор. Одна улица вдоль канала. Десять дворов, из них семь с проваленными крышами, с пустыми окнами, с камышом, проросшим прямо через пол. В двух дворах дымились трубы. И на самом краю, у канала, стояла хата побольше, под новой жестью, с сараем и мастерской.

На крыльце висел фонарь. Старый, кованый. Днём он не горел.

А за хатой, за каналом, стоял курган.

Стёпа почувствовал его раньше, чем увидел. Не знаком. Затылком. Так чувствуешь, что за спиной кто-то стоит. Курган был невысокий, круглый, под тонким снегом, и похож был не на холм. На ладонь, которая лежит на чём-то и не даёт ему встать.

Крышка, вспомнил он.

И в тот же миг точка у него на щиколотке кольнула холодом. Коротко. Как иголкой.

* * *

Гордей вышел из мастерской на звук мотоцикла.

Он вытирал руки ветошью. Точно так, как, наверное, вытирал их семь лет назад, когда дед позвал его из этой же двери. Увидел мотоцикл. Увидел Тараса за рулём. Увидел их.

И стал очень спокойным.

Стёпа уже знал это его спокойствие. Так Гордей выглядел на поляне у Саввы, перед тем как поднять тесак.

— На батином, — сказал он. Не спросил. — За хлебом, значит.

Тарас слез с мотоцикла. Встал перед братом. Он был ниже Гордея на голову и уже в плечах вдвое. И всё равно не отвёл глаз.

— В Вербовом шуликуны, — сказал он. — С Николы. Детей зовут. Я там две ночи просидел.

Гордей помолчал.

— С рукой.

— С рукой.

— Я тебе что сказал?

— А я не тебя слушал. — Тарас сказал это тихо, но так, что Рыжий у Стёпы на коленях прижал уши. — Я деда слушал. Дед бы пошёл. И батя бы пошёл. А ты тут фонари вешаешь и думаешь, я не понимаю, зачем.

Гордей не ответил. Он смотрел уже не на брата. Он смотрел на фонарь у Стёпы в ногах. На тёмно-красный, ровный, угольный свет за слюдяными окошками.

И лицо у него вдруг стало таким, каким Стёпа его никогда не видел. Молодым.

— Это… — Гордей сделал шаг. — Это чей огонь?

— Охрима, — сказал Стёпа. — Из плавней. Он сам отдал. Вчера. Сказал, ответ — это когда огонь с одной заставы пришёл на другую.

Гордей долго стоял над фонарём. Потом протянул руку, но не взял. Просто подержал ладонь над ним, как держат над печкой, когда пришли с мороза.

— Дед рассказывал, — сказал он. Тихо. — Что так делали. Раньше. Давно. Я думал, сказка.

Он убрал руку. И лицо у него снова стало каменным.

— Заходите, — сказал он. — Чаю налью. А потом уедете.

* * *

Хата у Нечитайло была чистая и пустая. Так бывает в домах, где живут одни мужики и стараются ничего не трогать. На стене висели фотографии в рамках. Старик с усами, с цепкими глазами, в фуражке. Мужчина с гармонью, смеющийся, чёрный, похожий на Гордея, только добрый. Женщина в белом платке. И два мальчишки на лодке, старший и младший, с удочками.

Стёпа посмотрел на этих мальчишек и подумал про себя с Матвеем. На речке, лет пятнадцать назад. Такие же.

Гордей поставил чайник. Сел. Тесак лежал на лавке у стены, в тряпке, и сквозь тряпку едва светились три искры. Стёпа посмотрел на них. Гордей перехватил взгляд.

— Не отдам, — сказал он. — До Рождества не отдам. А после… — Он пожал плечами. — После сами заберёте. Если будет у кого.

— У тебя три, — сказал Стёпа. — А надо девять. Ты не удержишь один.

— Знаю.

Стёпа замолчал. Он не ждал, что Гордей скажет «знаю». Он ждал спора.

— Знаю, — повторил Гордей. — С Николы знаю. С той ночи, как плита тёплая стала. Она в этот раз сильнее. Без девяти искр не удержать. А с девятью, может, и тоже не удержать. Всё я знаю, курганный.

— Тогда почему «уезжайте»?

Гордей посмотрел на него. Потом на ноги Стёпы под столом.

— Покажи правую, — сказал он.

* * *

В хате стало очень тихо.

Стёпа почувствовал на себе взгляд Матвея. Не поворачивая головы. Так, как на поле чувствуешь того, кого подвёл.

Он снял сапог. Задрал штанину.

Точка была больше, чем ночью. Не маковое зерно уже. Горошина. И от неё, очень тонко, как трещина на стекле, шла вверх по золотому завитку знака тёмная нитка.

Матвей втянул воздух. И ничего не сказал.

Гордей смотрел на точку долго. Потом молча закатал свой левый рукав.

Знак у него был от запястья до локтя. Ветвистый, как молния. И почти весь чёрный. Не тёмный, как старый шрам. Чёрный, как дыра. Только у самого локтя ещё оставалась полоска синеватого, живого. С палец.

— У меня так же начиналось, — сказал Гордей. — Семь лет назад. За две недели до Рождества. Точка. Холодная. С маковое зерно. Я думал, простудился. А дед увидел и побелел. И сказал: она тебя выбрала.

— Выбрала для чего?

— Для себя. — Гордей опустил рукав. — Она идёт на свет, курганный. На самый яркий. И сначала помечает. Чтобы в ту ночь сразу знать, куда бить. Семь лет назад она била в меня. А дед встал между. И накинул на меня последнее, что у него было. И всё, что должно было попасть в меня, попало в него.

Он помолчал.

— А в этот раз она выбрала тебя. Не меня. Из меня уже светить нечем. И не Тараса, у него под коркой едва тлеет. Тебя. И, скорее всего… — Он посмотрел на Матвея. На его левую руку. — И его. Вы же всегда вдвоём.

Матвей медленно закатал свой рукав.

Знак у него был целый. Серебристый, чистый, от запястья до локтя. Он повернул руку так. Потом так.

И в самом низу, у запястья, там, где начинался первый завиток, была точка. Маленькая. С маковое зерно.

* * *

Матвей вышел из хаты и хлопнул дверью.

Стёпа нашёл его за сараем, у канала. Брат стоял спиной к нему и кидал камни в лёд. Камни подпрыгивали и катились. Лёд был толстый.

— Отсидел, значит, — сказал Матвей, не оборачиваясь.

— Матюх…

— Ты мне в сентябре что сказал? На кургане? — Он кинул ещё камень. Сильно. — Что больше никаких секретов. Никаких. Ты сам сказал. А потом в ноябре с кольцом месяц молчал. А теперь вот.

— Я не хотел…

— Чего ты не хотел? — Матвей наконец обернулся. И Стёпа увидел, что лицо у него не злое. Испуганное. Как в сентябре на склоне кургана. — Чтобы я испугался? Стёп, мне семнадцать. Я в финале с борцом дрался. Я шуликунов фонарём разгонял. Я не маленький. И я тебя прошу. Прошу. Не спасай меня молча. Потому что когда ты молчишь, ты один. А когда ты один, ты…

Он не договорил. Но Стёпа услышал конец. Ты как дед. Как дед Петро на крыльце.

Стёпа подошёл. Встал рядом. Поднял камень и тоже кинул в лёд. Камень подпрыгнул и покатился.

— Прости, — сказал он.

Матвей молчал.

— У меня точка на ноге, — сказал Стёпа. Вслух. В лёд. — Со вчерашней ночи. Холодная. И растёт. И мне страшно. Вот.

Матвей покосился на него.

— И у меня, — сказал он. — На руке. Тоже. И мне тоже страшно.

Они постояли. Потом Матвей вдруг хмыкнул.

— Стало легче?

Стёпа прислушался к себе.

— Стало.

— Вот. — Матвей кинул последний камень. — А ты боялся.

* * *

Вечером Гордей зажёг фонарь на крыльце. Они сидели под ним вчетвером. Два фонаря, деда Лукьяна и Охрима. Жёлтый и тёмно-красный. Рыжий лежал у ног Гордея, как на поляне в горах. Он почему-то запомнил Гордея. И Гордей гладил его, не глядя.

— Уезжайте, — сказал Гордей в третий раз за вечер. Уже без силы. — Я тут двоих уже положил. Из-за меня. Из-за того, что я светился. А вы светитесь ярче. Вы её приведёте. Вы ей как маяк.

— А если нас не будет, — сказал Стёпа, — она пойдёт на тебя. Или на Тараса. Или на Вербовый. На Ваньку с Серёжей.

Гордей молчал долго.

— Охрим сказал, — продолжил Стёпа, — что раньше сюда на Рождество двенадцать застав приезжало. И никто не умирал. Никто.

— Раньше.

— А сейчас не раньше. Сейчас мы.

Гордей посмотрел на него. Потом на фонарь Охрима. Потом на Тараса, который сидел на ступеньке ниже всех и смотрел на брата снизу вверх. Так, как смотрел, наверное, когда ему было четырнадцать.

— Двенадцать, — сказал Гордей наконец. — Двенадцать ты не найдёшь, курганный. Их нет. Их давно нет. — Он помолчал. — Найдёшь шесть. Живых. Со знаками. Которые приедут. Тогда поговорим.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.